

ГЛАВА 1

1

Зайцев вернул взгляд на начало страницы. Снова почувствовал, будто по глазам провели наждачной бумагой, а взгляд ничего из протокола не зацепил.

Убитая: Фаина Баранова, 34 года, беспартийная. Счетовод промкооператива. Не замужем.

Очень жаль, обычно супруг становится первым подозреваемым.

А так — подозреваемых нет. Ни малейшей зацепки.

Зайцев зажег лампу под зеленым колпаком. Света особо не прибавилось. В окна смотрело нежно-голубое небо. Обычный июньский обман: белая ленинградская ночь уже давно закрыла двери магазинов, смела с мостовых телеги, трамваи и автомобили, задернула плотные шторы в комнатах ленинградцев, пытающихся наладить зыбкий сон между двумя светлыми кубами, в которые на месяц превратились день и ночь. А спящие улицы были ясны и светлы.

Зайцев разложил под лампой фотографии.

Фаина Баранова была убита в своей комнате. На черно-белых снимках розоватые обои стали светло-серыми. Убитая сидела в кресле у окна. Тяжелая портьера сдвинута в сторону. В окно видно здание Публичной библиотеки.

Зайцев перелистнул страницу, проверил адрес: проспект 25 Октября. Угол Невского и Садовой, попросту говоря.

Буквы снова превратились в бессмысленные значки. Зайцев подавил зевок. Сконцентрироваться никак не получалось, шум со стороны проникал, мешал. На этажах ленинградского уголовного розыска кипело обычное ночное оживление. Кого-то вели, кого-то опрашивали, кто-то рыдал, кто-то яростно матерился, и во всех коридорах и кабинетах горели ненужные желтые лампы. Пахло табачным дымом.

Фаина, значит, Баранова. Зайцев взял фотографию в руки. Заставил черно-белое изображение в мозгу стать цветным. Края снимка превратились в раму дверного проема — через него Зайцев несколько дней назад впервые увидел эту самую женщину. Вернее, ее тело.

Несколькими днями ранее

— Что, Вася, будем вскрывать? — Мартынов сдвинул кепку с потного лба на затылок. Глаза у него были красноватые. Ночь Мартынов просидел в засаде в одном из больших доходных домов на Лиговке. Потом все утро писал рапорт. Домой уйти не успел: начался новый день. А потом бригаду вызвали на проспект 25 Октября. Угол

Невского и Садовой, попросту говоря. «Погоди немного, отдохнешь и ты», — фальшивым дискантом напел Крачкин, втаскивая чемоданчик со всем, что требовалось для анализа места преступления; в другой руке у него была сложенная тренога для фотоаппарата.

— Пошел ты, — угрюмо отозвался Мартынов, моргая. В коридоре коммуналки стоял кухонный чад от доброй дюжины кухонных плиток. Повернуться негде было от хлама, выставленного соседями вон из комнат. Когда-то это была просторная барская квартира. Теперь в ней жили по семье в комнате. Обычная ленинградская коммуналка. В коридоре сразу стало тесно от прибывших оперативников. Соседи высовывались из дверей. У самой спины Зайцева терся какой-то старичок-лесовичок.

— Товарищ, я вам не мешаю? — рассерженно обернулся Зайцев.

— Товарищи, глазеть здесь не на что! — объявил Крачкин.

Окрик возымел противоположный эффект. Тотчас высунулись и те, кто поначалу думал пересидеть приезд милиции в своей комнате.

Зайцев посмотрел на хлипкий замок. Позади маячили понятия — местный дворник и управдом. «Со вчерашнего не отпирала», — снова вякнул старичок-лесовичок. Это он вызвал милицию. Из чада вынырнул Самойлов:

— Позвонил в кооператив. Не появлялась Баранова на работе.

Зайцев кивнул. Мартынов прислонился к стене и стоял, закрыв глаза. «Надо было его отправить

домой», — подумал Зайцев. Толку от Мартынова сегодня не было.

— Может, вышла куда? — предположил Серафимов.

— Идись, — задребезжал какой-то мужичок в толстовке. — А то мы не знаем.

— Докладывает она вам, что ли? — Зайцев быстро посмотрел ему в глаза. «Фу, вытаращил зенки свои», — негромко сказала какая-то пожилая баба. Зайцев сделал вид, что не расслышал.

— Зачем докладывает? — обиделся мужичок. — А то нам, соседям, не знать. Мы тут дружно живем, чего. Вон люди подтвердят. И к Фаине Борисовне отношение самое уважительное, несмотря на ейное иудейское происхождение. Женщина серьезная, аккуратная.

«Собака, ой, смотри, собака», — пронеслось по коридору. Соседи зашуршали, зашептались, заахали, пропуская черную со спины овчарку. Это был потомок знаменитого в ленинградском сыске десять лет назад Туза Треф, и носил он то же родовое имя.

Вожатый пса тихо отдал команду.

Пес на секунду замер у запертой двери — как будто его нюх требовал абсолютной тишины. Потом заскреб когтями. Значит, за дверью — мертвец.

— Ломай, Мартынов, — коротко распорядился Зайцев.

Вожатый взял пса за ошейник. Мартынов вставил короткий ломик, нажал. Ломик сперва соскочил, вырвав из двери лишь длинную щепу. Мартынов словно проснулся, бросил на Зайцева смущенный взгляд. Приладил ломик половчее.

Дверь в комнату Фаины Барановой хрустнула на прощание и распахнулась. Сзади забормотали, завозились зеваки.

— Соседей попрошу назад! — рявкнул Зайцев.

Комната была тесно заставленной, но большой, с двумя высокими окнами. У одного из них сидела в кресле женщина. Поза была настолько естественной, что Зайцеву в первое мгновение показалось, что женщина жива. Но она не дрогнула, не шевельнулась. Глаза трупа были открыты.

— Товарищи понятые. Это гражданка Баранова?

— Она, — дворник старательно вытягивал шею поверх зайцевского плеча.

— Спасибо, товарищ. Граждане соседи, пялиться здесь нечего! — громко объявил Зайцев в сторону двери. — Все будут опрошены по очереди.

— Назад, товарищи, — Серафимов ловко и твердо оттеснил любопытствующих вглубь коридора.

— Иди, Серафимов, работай по соседям, — коротко шепнул ему Зайцев. Серафимов кивнул, вышел, прикрыв за собой дверь.

Зайцев почувствовал, что они с Фаиной Барановой остались в комнате одни. И прежде чем Крачкин начнет пудрить предметы черной пыльцой на предмет пальчиков, а Мартынов и Самойлов задвигают ящиками, заскрипят дверцами, производя обыск, он постарался вобрать место преступления единым взглядом. Первое впечатление значит многое.

Лет пятьдесят. Как говорится, «полная»: то есть жирная, но не противная. Одна рука на подлокотнике.

Другая свободно лежит на животе. В правой руке белая роза. В левой — метелка из перьев. Такой сметают пыль домашние хозяйки.

— Черная роза — эмблема печали, — проговорил Мартынов. Роза в руках у Барановой была белой. Но Мартынов был прав: от фигуры убитой веяло тревогой и драмой. Позади алым полыхала шелковая портьера. На ее фоне платье казалось еще черней, белая роза — еще ослепительней. Контраст алого, черного и белого был почти театральным. Его смягчали переливчатость шелка, глубокая мягкость бархата и нежность лепестков. «Для кого она так вырядилась? — подумал Зайцев. — Кого ждала?»

— Сердце, похоже, — кивнул Крачкин, по возрасту самый старший в бригаде. — Отдышаться не успела — и привет.

— Ты, Крачкин, своей меркой не меряй. Женщина-то еще не старая.

Крачкин пожал костлявыми плечами.

— Не старая, но и не первой молодости. Версия возможная.

— Медики скажут точно. Вызывай перевозку, Мартынов.

Мартынов пошел в коридор — звонить, чтобы забрали тело.

Зайцев наклонился к сидящей:

— Рано вы сегодня о дембеле размечтались.

Пальцем отогнул белый воротничок — показал Крачкину: через всю шею алел острый, как будто резанный, след.

— Любовник, как пить дать, — сразу сказал Самойлов.

— Для такого и женщина, и мужчина сильны достаточно. Даже подростка или старого человека нельзя исключить, — заметил опытный Крачкин, наводя треногу. — Но сожитель — скорее всего, говорит статистика. А статистика — страшная сила. Вася, — тут же переключился он, — ты объясни начальству, что мне здоровье не позволяет тяжести тягать. Нам фотограф в бригаду нужен.

О фотографе Крачкин напоминал постоянно, и по факту это было правдой: сотрудников в угрозыске не хватало. Но по существу — правдой не было. Когда Зайцев только пришел в бригаду, Крачкин представился так: «Крачкин, старик, ипохондрик, мизантроп». И стиснул Зайцеву ладонь так, что пальцы захрустели. Силы ему было не занимать.

Крачкин высоко поднял вспышку.

— Самойлов, ты ищи струну или вроде того, — сказал Зайцев. И, увидев, что Мартынов вернулся, быстро глянул на наручные часы с исцарапанным стеклом и принялся диктовать: — Тело обнаружено в шесть часов сорок восемь минут...

Самойлов, стуча, выдвигал ящики комода, туалетного столика, шкафа.

— Удушили гражданку Баранову, — машинально произнес Зайцев.

Хлопнула вспышка, на миг обдав комнату светом.

Струну, однако, так и не нашли.

«Не первой молодости». Зайцев сверился с делом. Фаине Барановой было 34 года. «Надо же». Когда они обнаружили ее тело, она показалась ему старше. Он посмотрел на маленькую фотографию, типичный снимок на пропуск: застывший взгляд, сжатые губы. Опять эти соседи!

Зайцев снял скрепку, взял фотографию, отвел подалее, как будто стараясь увидеть Фаину Баранову своими собственными, не соседскими глазами.

Пожалуй, для своего возраста Фаина Баранова выглядела если и не старо, то болезненно. Лицо одутловатое, под глазами темные мешки. Хотя кто сейчас хорошо выглядит? Скверная еда, изматывающая служба. По очередям набегаются, по дому покрутятся, а с утра самого снова ввинчивается в трамвай — и опять на службу. «Но брови-то выщипала», — отметил Зайцев.

И метелка. Такой метелкой домработницы сметают пыль в квартирах побогаче. А не в коммуналках. Хозяйки в коммуналках предпочитают обычную тряпку. «Странная деталь».

Соседи показали, что у Барановой ничего не украдено. «Все-то они в этой квартире друг о друге знают», — подумал Зайцев. «Такая ли она дружная, квартирка эта, тоже еще проверить надо». Он надавил пальцами на закрытые глаза: желтый электрический свет впился в висок. «Красная роза — эмблема любви». А когда открыл, поверх папки лежал опрятный листок и рядом со столом маячил Серафимов. Наверху листа было выведено четким семинарским почерком: «Заявление».

— Все, Сима, все заявления примем завтра. Сегодня — спать, — Зайцев поднялся. Стул под ним крякнул. — Что-то примяли меня эти сутки малость. Ничего уже не соображаю.

— Это мое заявление.

— Чего? — Зайцев наярнул глаза: «...по собственному желанию». Снова глянул на Серафимова.

— Шутишь?

В полном соответствии с фамилией во внешности Серафимова было что-то пасхальное. Голубые глаза и нежный румянец, впрочем, обманывали. В бригаду Серафимов перевелся лет пять назад, в Ленинграде тогда еще на темных улицах звучали выстрелы, бандиты куражились вовсю. Сиживал Серафимов и в засадах, и под пули бандитские ходил.

Зайцев прочел заявление. Бросил листок на стол.

— Ты, Сима, видно, переутомился немного. Бывает. Нечего тут заявления строчить сразу. На, заberi. Отоспись иди. Я этого не видел.

Но Серафимов схватил его за рукав:

— Я серьезно, Вася.

Зайцеву не было и тридцати. Как почти всем в угрозыске. Но в таком случае именно что год-два решали больше, чем для иных десять лет. Зайцев был «тем самым» следователем Василием Зайцевым. Товарищем Зайцевым. И только для своей родной второй бригады оставался Васей.

— Сима, у нас людей не хватает. Мартышка с ночной засады на вызовы катается, Крачкин фотографирует вместо того, чтобы соседей опрашивать, а ты — увольняться?

Взгляд Серафимова удивил его.

— Я серьезно, — тихо повторил тот.

Зайцев посмотрел: да, похоже.

— Сядь-ка, Сима. Сядь.

Зайцев закрыл дверь кабинета, отрубив сизое щупальце табачного дыма, клубившееся из коридора.

Серафимов опустился на диван из чертовой кожи. Зайцев сел на подоконник. Окно было нараспашку. Слышался тихий ровный плеск волн о гранитный парапет. С Фонтанки тянуло одновременно гнилью и свежестью.

— Вася, не трать время. Дело решенное, — тоскливо проговорил Серафимов.

Под тощим пиджачком у него на боку топорщился пистолет. На Серафимове с его кудрями, глазами, щеками пистолет казался детской игрушкой.

— Решенное так решенное, не спорю, ты большой мальчик. Я просто любопытствую. Ну а куда ты собрался? В трамвайный парк? В конторщики?

— Можно подумать, я сам хочу.

— А, стало быть, у тебя девушка завелась и за бухгалтера замуж хочет? Чтобы без ночных дежурств и уголовного элемента?

Серафимов встал. Подошел поближе к окну. Показал глазами на закрытую дверь. Зайцев понял знак, спрыгнул с подоконника, прикрыл раму. Только тогда Серафимов тихо пояснил:

— Чистить меня собрались.

— Ха! — удивился Зайцев. — И что эта комиссия из биографии твоей вычистит? Что в засадах ты раненый? Что товарища своего Говорушкина из-под пуль

бандитских, рискуя жизнью своей, выносил? Что ночи не спал? Биография твоя, Сима, известна. И такие сотрудники в уголовном розыске на вес золота.

— Хорошо тебе говорить! — в сердцах воскликнул Серафимов.

— А что мне? Чем я отличаюсь?

— Вон как у тебя все просто.

— А что у тебя непросто?

Но тут затрещал телефон. Зайцев снял трубку и показал Серафимову рукой: погоди.

— Зайцев слушает. Записываю. Угу. Спасибо.

Все это время Серафимов рассерженно глядел в окно.

Зайцев повесил трубку. Оживился.

— Интересное кино. Соседка Барановой по квартире позвонила, говорит, кое-что вспомнила. Побеседовать завтра хочет.

Он сверился в папке:

— Ольга Заботкина. Хм, это учительница музыки. Хорошо. Интеллигентные старые девы гораздо лучше присматриваются к соседкам и их кавалерам, чем все обычно думают.

Но Серафимов его оживление не разделял.

— Что непросто? — саркастически повторил он. — Да все просто! Происхождение мое особенно.

— А что с ним не так? — Зайцев завязал шнурки на папке с делом Барановой.

— Отец — священник.

— Так ты, Серафимов, происхождение свое от советских органов и не скрывал. В анкете честно

прописал, — Зайцев убрал папку в пасть сейфа, — когда в милицию поступал. Пусть трясутся те, кому есть что скрывать.

— Тогда! Тогда значения не имело. Сейчас имеет. Вычистят меня, Вася, отсюда. С волчьим билетом. Тогда не то что в трамвайный парк не возьмут. Тогда и выслать могут. За сто первый километр. Как антисоветский элемент. Враждебный советскому строю класс. А если по собственному сейчас уйду, так потом ни у кого вопросов не будет. Хоть продавцом устроюсь, хоть механиком.

Серафимов побоялся, что глаза его наполнятся слезами. Он себя жалел. Несправедливость ранила.

Зайцев все так же смотрел перед собой веселыми холодными глазами. Только сейчас они были скорее холодными, чем веселыми.

— Отставить обиду, Сима.

Серафимов отвернулся:

— Обидно, Вася, — выдавил. — При чем здесь папаша мой?

— Ты чего, младенец, что ли? Пусть другие обижаются. Которые несправедливость творят. Вот что, — отрубил Зайцев. — Класс твой один — милицейский, самый советский. И точка.

Зайцев увидел, что Серафимова это не впечатлило.

— Послушай, Сима. Возникла у меня идея одна. Бычьихся с товарищами из комиссии нам ни к чему. Они нашей специфики не понимают. А объяснять некогда.

Серафимов посмотрел на него с надеждой.

Зайцев еще раз надавил пальцами на глаза. На этот раз боль в виске не прошла.

— Смотри, значит. Я тебе сейчас отстукаю приказ. Направляешься ты, товарищ Серафимов, в командировку. — Зайцев прикинул что-то. — Обменяться опытом с местными товарищами. Задача ясна?

На щеки Серафимова постепенно вернулись пасхальные розы:

— Так точно.

— А когда приедешь, ничего не знаем. Чистили-прочистили, всем привет. Поезд ушел. Понял, товарищ Серафимов?

— Понял. А куда?

— Чего куда?

— Направляюсь куда?

Зайцев задумался.

— В Киев, может? Дивный, говорят, город.

— Можно и в Киев.

Зайцев с хрустом вставил лист в свой ремингтон, одним пальцем принялся бить по клавишам. Лязгая, прыгали литеры. Послание киевским товарищам, видно, было коротким. Зайцев покрутил рычаг, выдернул лист и изобразил под ним петлистую подпись.

— Завтра с карточками только разберись, и пусть билеты тебе выпишут. Чистка эта у нас...

Зайцев перемахнул страницу в настольном календаре.

— Вот. В одиннадцать. Значит, прямо часов в восемь утра все оформи, и вперед.

— А?..

— А я вместо тебя на чистку эту приду. Посижу с удовольствием. Ногам отдых дам. И пусть меня чистят.

Биография — пролетарская, снять нечего, кроме штанов.

Серафимов открыл рот, но, прежде чем из него вырвалось «спасибо», Зайцев поморщился.

— Спасибо девочки за цветы говорят. ...Всё, спать!
И Серафимов осекся.

2

Он сразу понял, что это и есть — чистка. Зайцева только слегка удивило, что сюда из морга притащили металлические столы на колесиках. Как будто, почистив, собирались разделать ножами и пилой, а потом смыть кровавые ошметки шлангом. Булькающая разноголосица отскакивала от крашенных стен с портретами вождей, от высоких потолков. Комиссия сидела за столом. Зайцев видел товарищей из других бригад. Обращала на себя внимание туша Коптельцева. Он искал глазами своих. Увидел Самойлова, и Мартынова, и старого Крачкина, и даже вожатого ищейки — вот только не мог вспомнить его фамилию. И Серафимова. «А ты что не уехал?» — спросил. Ни Самойлов, ни Мартынов, ни Серафимов не удивлялись ни металлическим столам, ни дикой, невыносимой лампе, которая била с потолка ярким светом прямо в глаза. «Ну что, товарищ, почистимся?» — пригласил его голос. Блестели кругленькие очки, за которыми не видно было глаз. Зайцев кивнул. Потом вдруг скинул пиджак. Спустил подтяжки.

И с ужасом понял, что стремительно раздевается. С чудовищной, непостижимой быстротой и легкостью. Вот уже упали на пол сатиновые трусы. Он вышел из них, стряхнул с ноги. И проснулся.

В комнате стоял зябкий утренний полумрак. Слишком рано. «Вот черт, всего час-другой сумел поспать», — прикинул Зайцев. Обидно. И вдруг увидел: на потолке огромная легкая паутина отливала металлическим блеском. А потом тихо начала опускаться. И Зайцев понял, что она не легкая, липкая, а режущая, тугая, еще прежде, чем она коснулась его.

И уже проснулся окончательно, с гулко бухающим сердцем и перемятой подушкой в руках.

В окно низко било солнце. Очевидно, это оно изображало лампу в его сновидении. Светом наливалась и белизна потолка с лепниной: в гипсовые ямки забились пыль, эти вечные тени придавали остаткам былой роскоши еще большую выразительность. Другой роскоши в комнате у Зайцева не было.

Зайцев протянул руку, взял с табуретки примятую коробку, вынул папиросу, постучал о коробку, продул, сунул в рот. Тут же вынул. Вспомнил, что вчера бросил. Летом всегда так легко вставать. Зайцев откинул простыню.

Орали воробьи. Летнее ленинградское утро уже завело свою машину. И грохотало по улицам, дудя разными голосами. Будильник своими черными пальчиками-стрелками показывал перевернутую ижицу. Из коридора говорило радио.

Зайцев выдвинул ящик комода. Оделся. Мимходом пихнул початую коробку с папиросами под комод:

выбросить жалко, а так с глаз долой. Выдвинул другой ящик. Паша щепетильно сложила сдачу ровной металлической пирамидкой поверх неистраченных карточек. В коричневых бумажных кулках ее вчерашние покупки. Зайцев зашуршал, проверяя: чай, кофе, сахар. В сероватую полотняную салфетку был завернут черный кирпичик хлеба.

Для всей их огромной коммуналки, для всей парадной, для всего двора и второго, связанного с ним аркой двора-колодца, да для всего дома, в котором, если верить рассказням, до революции жила его хозяйка, знаменитая романсовая певица Вяльцева, а теперь — простой трудовой народ, для всего дома она была, конечно, тетей Пашей. В крайнем случае Пашкой. Немолодая огромная бабища, с огромной бляхой на фартуке, Паша по утрам летом и осенью махала колючей метлой, а зимой и весной скребла двор лопатой и посыпала песком. В свободное от государственной службы время Паша строчила на машинке, ритмично нажимая на квадратную чугунную педаль с надписью «Зингер» своими колодами-ногами.

А еще вот вела Зайцеву его тощее холостяцкое хозяйство.

Времени даже на этот скудный быт у следователя ленинградского угрозыска все равно не было. Зайцев отдавал Паше деньги и карточки, она складывала покупки в ящик комода. В другом ящичке помещалась вся зайцевская летняя одежда. В третьем, нижнем, — вся зимняя. Ключ от комнаты он Паше выдал для удобства. Красть у Зайцева было нечего, кроме чугунной гири в одном

углу да вытертого кресла в другом. Из кресла лез жесткий конский волос. В их доме люди жили маленькие и бедненькие. Но даже их гиря и кресло вряд ли могли искусить.

Зайцева это полностью устраивало.

Он ложкой отсыпал кофе в медный ковшик на длинной ручке и пошел на кухню. Вдоль стен стояли десять примусов на десяти разномастных столах. Зайцев сварил себе кофе. Крупно отрезал хлеб, посыпал сахаром.

— Что, товарищ Зайцев, жену себе не завел еще? Всухомятку все питаешься, — соседка Катька вошла, стукнула на плиту сковороду и бросила кусок масла. Поверх бигуди у нее была шифоновая косынка. Ходить «неприбранной» Катька при соседях не любила: она была дамой интеллигентной, трудилась бухгалтером на фабрике имени Крупской.

— Доброе утро, Катерина Егоровна.

На масле зашипели яйца. Их ждали в комнате Катькин муж и дочка-студентка. Дочка собиралась далеко уйти от корней и стать совсем аристократкой — зубным техником.

— И чего девочкам надо? Жених вон не кривой, не кособокий, с жилплощадью, с окладом, карточка офицерская, поди.

— Хорошего дня, Катерина Егоровна.

Это был обычный утренний ритуал, в котором каждый придерживался однажды выбранной роли. Катька свою играла бескорыстно, у дочки-студентки уже был жених.

Глядя на Катьку, Зайцев недоумевал особенно: как это люди находят себе супругов? Разглядеть в эдакой, например, туше свою единственную. А ведь выбрал ее муж эту свою Катерину Егоровну. Уму непостижимо, размышлял он, жуя хлеб. Решают. Записываются. Тащат в комнату матрасы, потом детские кровати и корытца. Вьют гнездо. Эта сторона обычной человеческой жизни казалась Зайцеву невообразимой. И эти все ритуалы. Походы на танцы. А потом непременно мужской пиджак поверх девичьих плеч, с бесконечной невской набережной в качестве декорации. Стишки еще, цветочки... Зайцев поморщился. Страхнул крошки и залпом опрокинул оставшийся кофе.

— Что, товарищ Зайцев, чай остыл? — тут же осведомился сосед Палыч, входя в кухню. — А я вот давеча взял. Трава травой. Посмотрел — а там такое намешано. Чаю процентов двадцать.

Палыч говорил «процентов». Собеседники ему и не требовались. Иногда казалось, что домочадцы нарочно выставляют его на кухню, уши он им прожужжал.

— Репейник чистый, а не чай.

— Я пью кофе, — ответил Зайцев.

В том мире, где Фаина Баранова была убита — убита спокойно, ненужно и изуверски, — невозможны были букетики и танцы. Просто не было свободной комнаты в мозгу, чтобы об этом думать.

Странное дело Фаины Барановой заняло Зайцева целиком.

В коридоре уже начали роиться соседи, в ванную стояла очередь с полотенцами и мылом в руках. Зайцев

захлопнул дверь и выскочил на набережную Мойки. Паша уже причесала здесь своей жесткой метлой: на земле видны были кругообразные полосы. Газон перед домом давно уже никто не сажал.

Заметив на Исаакиевской площади поворачивающий трамвай, Зайцев припустил, на ходу запрыгнул и повис на подножке. Трамвай понес его сквозь красивый город, в котором люди жили по большей части некрасивой, неопрятной, бедной жизнью. Собачились на коммунальных кухнях, в пару, вони и бардаке отдыхали от нудной изматывающей работы, часами стояли в очередях за гадкой едой, которую называли «продуктами питания», мучительно копили то на пару туфель, то на бостоновый костюм, подписывались на государственные займы из своих тощих зарплат, пучили глаза на бесконечных партсобраниях. Утро все же было удивительно к лицу Ленинграду. Сверкало на шпилях и в окнах.

Самая длинная очередь, несмотря на ранний час, когда еще все магазины закрыты, склочно извивалась в водочный магазин. Маячили мятые лица. При виде этой очереди Зайцеву само пришло на ум старинное название алкогольного соблазна: «зеленый змий». На проспекте 25 Октября он спрыгнул.

3

Медную табличку «Ф. Баранова» с общей входной двери еще не свинтили. Рядом была приколотая бумажка

с надписью от руки «два коротких». Дверь была испещрена табличками с фамилиями всех жильцов квартиры и указаниями, кому как звонить. Каждая табличка на свой манер выражала характер владельца. Вместе они выглядели пестро.

Зайцев задумался: а каков характер соседки, к которой он направляется? Фамилия «Заботкина» была выведена масляной краской на прямоугольном кусочке фанеры. Простовато. Зайцев утопил кнопку звонка, согласно указаниям. Два длинных и один короткий. «Училка музыки могла бы придумать что-нибудь позатейливее». Он почти придумал, как пошутить с ней об этом, но тут Ольга Заботкина отворила дверь:

— Это вы товарищ из милиции? — благоговейно-пугливо спросила она.

И Зайцев раздумал шутить.

Заботкина походила фигурой на большую бледную сыроватую грушу. Чуть растрепанные волосы собраны в узел. Круглые очки с глазами-рыбками. Зайцев отметил смутное сходство с товарищем Крупской.

— Зайцев, следовательно.

— Проходите, товарищ, — голос у Заботкиной оказался тихим и сыроватым, как она сама.

Комнату Заботкиной он услышал сразу. Спотыкающиеся звуки пьески «К Элизе» пробирались по темному коридору до самой входной двери. Товарищ Заботкина пропустила Зайцева в коридор, по которому все плелась и спотыкалась «Элиза». И загадочным шепотом добавила:

— Я сразу поняла, что это вы.